

ЛИНА ЛИЧМАН

За каждым
проклятием
стоит человек

ДЬЯВОЛЬСКОЕ МЕСТО



Лина Личман

**Дьявольское место,
или За каждым
проклятием стоит человек**

«Автор»

2026

Личман Л.

Дьявольское место, или За каждым проклятием стоит человек /
Л. Личман — «Автор», 2026

Она просто откликнулась на просьбу о помощи. Но некоторые дома кричат, потому что люди слишком долго молчали. Одно письмо, одна фотография северного терема с заколоченными окнами — и Анастасия снова оказывается там, где каждый вопрос стоит дороже предыдущего. Новый хозяин купил дом, восстановил его — и теперь боится в нём жить. Чужой дом, который вся округа зовёт дьявольским, знак на стене, повторяющийся из десятилетия в десятилетие, смерти, в которых удобнее винить нечистого, чем соседа, — и люди, которым очень нужно, чтобы так оставалось и дальше. Каждая находка связывает прошлое с настоящим, а попытка разобраться в давних смертях становится опасной для живых. Но самое страшное — не узнать, что произошло когда-то давно. Самое страшное — понять, чем за твоё желание добраться до правды могут заплатить те, кто оказался рядом. Это история не о дьяволе. Это история о памяти, о цене молчания и о смелости назвать зло своим именем. Потому что за каждым проклятием стоит человек.

© Личман Л., 2026

© Автор, 2026

Лина Личман

Дьявольское место, или За каждым проклятием стоит человек

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 2010 году.

ПРОЛОГ

Этот вечер я собрала последним — когда уже знала и то, что можно вычитать из бумаг, и то, чего из бумаг не вычитаешь никогда. Я редактор. Одиннадцать лет живу с чужими словами и потому скажу честно, как привыкла говорить авторам: в мелочах я могла ошибиться. В том, кто где сидел, в порядке тостов, в том, кто во что был одет. В главном — нет. Я восстанавливала его по протоколам, по пожелтевшим вырезкам, по соседской памяти, по фотографии, чудом уцелевшей в чужом альбоме, и по тому, что запомнила девочка, забежавшая в тот вечер поглядеть на праздник. Складывала, как складывают разбитую чашку, и всё боялась, что не хватит куска. Куска и вправду не хватило — одного, последнего. Но о нём после. Сначала — вечер.

В ту осеннюю ночь девяносто пятого года северный терем — тот самый, о котором вся эта книга, — первый раз за тридцать лет светился весь, от подклета до светёлки. Его только что подняли из мёртвых. Новый хозяин — человек девяностых, быстрый, громкий, щедрый той особой щедростью, какая бывает у людей, недавно и неожиданно разбогатевших, — не пожалел ни денег, ни года жизни: согнал мастеров, выправил каждую досочку, вернул дому и резные подзоры, и крашенные полы, и стёкла в верхних окошках. Старый терем, который вся округа, крестясь, обходила стороной, вдруг засиял окнами на весь чёрный лес — нелепо, вызывающе, как пароход посреди поля. Деревня смотрела на это сияние из-за заборов и качала головами: не к добру светится дьявольский дом. Их было тринадцать — всех, кто в тот вечер находился в доме. Хозяин Лев с молодой женой Мариной; двое их детей, которым давно полагалось спать, да кто ж в такую ночь спит; брат хозяина с женою; сестра Марины с мужем и маленьким сыном; старуха-мать на почётном краю стола; деловой товарищ хозяина с супругой; и работница, нанятая на один вечер, потому что дом был большой, а праздник вышел больше дома. Тринадцать живых, тёплых, ничего не подозревающих людей.

Лев встал с рюмкой. Он был из тех, кто в девяностые поднялся быстро и оттого тосты говорил длинно, с чувством, не умея ещё, как умеют старые деньги, быть кратким. Хозяин сказал — мне передали почти дословно, эти слова запомнила соседская девочка, которую вскоре после тоста увели домой, — что дом сто лет простоял сиротой, а теперь у него снова есть семья. Что про терем болтают всякое, и пусть болтают: от зависти да от темноты. А он, Лев, темноты не боится, потому что завёл сюда столько света, что хватит на три деревни. Нечисть света не любит, произнёс он, нечисть по тёмным углам сидит, а тут углов тёмных не осталось. Ему хлопали. Чокались. Смеялись. Свет горел во всех окнах, а за окнами стоял чёрный, мокрый, безразличный лес. Во дворе, на цепи, заходилась собака. Рвалась, хрипела, скребла когтями подмёрзшую землю — и кто-то из гостей, незлобно, под общий смех, крикнул ей в окно уняться. Собака не унялась. Люди за столом ещё ничего не слышали. А к воротам, в темноте, погасив фары, чтобы не разбудить деревню, подъезжала машина.

Дальше я не пойду. Этот тост — последнее тёплое, что было в том доме, и пусть оно таким и останется: свет, рюмка, длинные счастливые слова и лай собаки, которую никто не послушал. А про то, что произошло дальше, расскажу позже и по порядку. А пока скажу одно — про число. Тринадцать. Молва потом будет шептать его с придыханием, будто его кто-то подгадал, будто сам нечистый отсчитал свою чёртову дюжину. И я, когда села наконец собирать

этот вечер по бумагам, об это число споткнулась первой же ночью — споткнулась и не смогла идти дальше. Потому что оно не сходилось. В пересказах всё укладывалось слишком ладно: чёртова дюжина, как по заказу. С приметой был полный порядок. С подсчётом — не совсем. Но к этому мы ещё вернёмся. А пока пусть горит свет во всех окнах, пусть лает непослушанная собака, пусть хозяин говорит, что нечисть света не любит. Меня зовут Анастасия Ветрова. Я приехала на этот крик — и это моя вторая книга.

Весна в наших краях приходит позже календаря и всегда будто извиняясь. К середине марта снег ещё лежал в северных углах огорода серыми ноздреватыми островами, твёрдыми, как старая совесть, а с южной стороны уже текло, парило, капало с крыши длинными холодными нитями, и пахло той особой мартовской смесью прелого листа, талой земли и чего-то будущего, по которой сразу понятно: зима сдалась. Я выходила утром на крыльцо, как выходят на разведку, втягивала носом этот запах и ставила в голове галочку: ещё неделя — и можно будет обрезать яблони. В бабушкином доме на Старой улице я жила уже полгода с порядочным хвостиком и успела сделать открытие, которого не совершила за все тридцать пять лет городской жизни: у времени, оказывается, есть запах. В Москве оно пахнет кофе, выхлопом машин и метро — мокрыми зонтами, чужими духами вперемешку с потом. Пахнет одинаково круглый год, оттого там и не замечаешь, как утекает жизнь. А тут время пахнет по месяцам: январь — морозом и дымом, февраль — оттепелью и мышами в подполе, март — вот этим, будущим. Я научилась узнавать месяцы носом, как другие узнают по календарю, и, доложу вам, это куда надёжнее. Календарь врёт — он рисует весну первого марта, когда на дворе ещё зима. Нос не врёт никогда.

Жили мы теперь втроём, и раз уж мы знакомимся, представлю коротко. Я; Андрей, который за год превратился из соседа по московской коммуналке сначала в «своего», а потом и вовсе в того, без кого дом не дом и стол не стол; и кот Филимон — рыжий, с разбойничьей мордой и рваным левым ухом, доставшийся мне вместе с наследством и с первого дня твёрдо убеждённый, что, наоборот, наследство досталось ему вместе со мной. По утрам он будил меня, усаживаясь на грудную клетку с весом и неотвратимостью гражданского долга, и смотрел в лицо тем взглядом завхоза, который не оставляет сомнений, кто в доме ведёт учёт. Будильник, много лет поднимавший меня в кубик с перегородками, этой службы лишился ещё зимой, когда я наконец разобрала последние московские коробки. В них оказалась моя прежняя жизнь в концентрате: диплом, восемь кружек с конференций, ни одной любимой, папка «важное», в которой не было ничего важного, — и на самом дне он. Будильник я отнесла в сарай, Андрею на запчасти: у Филимона выходило точнее и без кнопки «отложить». Я давно перестала с ним спорить. Коты, как и редакторы, правят миром, не спрашивая разрешения; просто коты честнее — они хоть не делают вид, что советуются.

Андрей вставал в шесть, не «просыпался», а именно вставал — сразу и весь, как по тревоге, — и к моему появлению на кухне в доме уже была натоплена печь, начищена картошка и совершалась какая-нибудь тихая польза: подбита ступенька, переставлена бочка под водосток, срезана прошлогодняя крапива у сарая. Мне оставалось явиться к завтраку. С этой частью хозяйства я справлялась без посторонней помощи. Восемь лет Андрей сторожил в Москве чужой склад, сутки через двое, и эту привычку — вставать в темноте и нести вахту — из него теперь было не вытравить, да я и не пыталась. Только подстраивала под неё хозяйство, как редактор подстраивает график под темп автора: хочешь нести вахту — неси, вон забор повело, вон колодезная цепь скрипит. Он был при деле, забор стоял ровно, цепь не скрипела — и было в этом такое надёжное, такое непривычное мне счастье, что я первое время всё ждала подвоха. Подвоха не было. В том, как выяснилось, и фокус.

Прижились здесь, к слову, не только мы с Андреем. Леночкин кактус — привет из прежней редакционной жизни, — переживший переезд, я поставила на подоконник в горнице, рядом с бабушкиной геранью. Они смотрелись странной парой: столичный колючий минима-

лизм и провинциальная пышная зелень. Но в феврале кактус, не цветший у меня десять лет ни разу, вдруг выбросил бутон. Андрей сказал — микроклимат. Раиса сказала — дом принял. Я записала оба мнения в тетрадку и согласилась с обоими: в этом доме микроклимат и есть «дом принял», одно слово учёное, другое — честное.

Моя первая книга к весне уже вышла. Та самая — про дом, про бабушку, про то, как «проклятое место» оказалось самым любящим на земле, как я приехала получать наследство, а получила целую жизнь, прожитую в мою сторону. Писала её ночами, на кухне, под ходики, и до последнего не верила, что её прочтёт кто-нибудь, кроме меня и моего главного редактора Геннадия Борисовича — ворчуна, скряги и тайного, глубоко законспирированного романтика. Прочли. Геннадий Борисович, который за годы совместной работы предлагал мне прибавку дважды, и оба раза под угрозой увольнения, выбил на книгу аванс, какого, по его собственному выражению, «не выбивал никому и больше не собирался». Теперь при случае рассказывал гостям, что «воспитал автора, на которого очередь из издательств», скромно умалчивая, что все эти годы держал этого автора в чёрном теле на ставке редактора и однажды чуть не уволил за лишнюю запятую. Я не поправляла. Давно усвоила: в каждом прожжённом главреде живёт человек. Просто живёт он глубоко, тепло одевается и наружу выходит редко, по большим праздникам и в нетрезвом виде.

Должна сказать, к этому времени у меня впервые в жизни завелось то, что взрослые серьёзные люди называют положением, а я про себя звала «меня стало неудобно не замечать». Удалёнку мы оформили ещё осенью, но Геннадий Борисович при каждом созвоне напоминал мне об этой уступке с таким чувством, будто пожертвовал мне почку.

— Ветрова, я тебя в эту твою деревню отпустил, — сказал он во время последнего звонка, — но запомни: если ты там окончательно одичаешь и начнёшь присылать мне рукописи, пахнущие дымом и геранью, я тебя верну в Москву по этапу.

Я заверила его, что геранью пахнут только хорошие рукописи, а плохие пахнут чужим тщеславием, и это, между прочим, куда хуже выводится. Он поворчал для порядка и остался доволен: ворчание было его способом выражать привязанность, единственным освоенным за шестьдесят с лишним лет.

Так что в ту северную глушь я ехала не безработной авантюристкой по письму от незнакомца. Я ехала автором с вышедшей книгой, с авансом под вторую и с главным редактором, который хоть и грозил этапом, а втайне уже потирал руки: чутьё у Геннадия Борисовича было волчье, и он, я уверена, унюхал в моём северном письме новую книгу раньше, чем я сама. Когда речь зашла о поездке, буркнул:

— Только ты там, это... поосторожнее. А то знаю я тебя. Ты ж не успокоишься, пока всех не перессоришь с их любимыми покойниками.

В этом, если убрать ворчливую обёртку, было самое точное описание моего ремесла, какое мне кто-либо давал. Я и вправду не успокаиваюсь. И покойники у нас в стране и вправду чаще любимые, чем оплаканные, — любимые именно за то, что молчат и не спорят с придуманной про них версией.

Но до северной поездки мы ещё доберёмся — я забежала вперёд. Письмо, которое позвало нас в дорогу, было не первым, про остальные тоже стоит рассказать. Сначала мне писали в Живой журнал, на старую мою страничку под ником «Редактор головного мозга», которую я когда-то завела, чтобы рассказывать про будни профессии, а после, во время суздальской истории, ненароком превратила в хронику расследования. Потом пошли и бумажные письма, на простой адрес: Суздаль, Старая улица, дом двадцать один, Ветровой Анастасии Викторовне. Писали незнакомые люди — и письма их были до того похожи одно на другое, что я через десяток уже знала наперёд, о чём будет следующее. У каждого в семье, в роду, в деревне обнаруживалась своя запертая дверь. Своя бабка, которую все считали ведьмой, а она просто всю жизнь молчала. Свой дом с дурной славой. Свой дед, перед смертью сказавший

непонятное. Своя тётка, «пропавшая» при странных обстоятельствах, о которых в семье не принято. Люди писали мне так, как пишут не писателю — врачу или священнику: не «понравилась книга», а «у нас тоже, помогите, я больше не могу это в себе носить».

Поначалу эти письма меня даже пугали — не содержанием, а количеством и одинаковостью. Я ведь думала, что история моей бабушки — особенная, единственная, выстраданная только нашей семьёй. А оказалось, что таких семей — полстраны, что почти в каждом роду лежит свой непогребённый, недоговорённый, замётённый под половицу покойник. И я — сначала записями в ЖЖ, а потом и книжкой — просто ненароком постучала по этой половице, и мне откликнулись отовсюду. Это отрезвляющее чувство — понять, что твоя уникальная боль типовая, что ты не исключение, а правило. Сначала обидно, как обидно ребёнку узнать, что он не единственный у мамы. А потом приходит другое, и оно важнее: если нас так много, значит, дело не в проклятии отдельной семьи, отдельного дома, отдельной деревни. Сорок писем в месяц — сорок заколоченных дверей.

На первые одиннадцать я ответила ещё в феврале. И дальше старалась отвечать каждому. Не отделяться «спасибо за тёплые слова», а хотя бы дать человеку знать: письмо дошло, его услышали, дверь его — не выдумка и не блажь. И бояться своей семейной правды не надо: пока её прячут, от догадок мороз по коже, а вытащишь на свет — и она, бывает, оказывается вовсе не страшной, а просто давней и грустной. Распутывать чужие тайны я была пока не готова и писала об этом честно: я редактор, а не следователь, у меня ни денег на расследования, ни полномочий. Моё дело — слова, а не эксгумации. Это, впрочем, не мешало нашему участковому Серёже — лопухому, восторженному, влюблённому в своё дело лейтенанту — называть нас на полном серьёзе «Ветрова и компания» и проситься в штат несуществующей конторы. Я отшучивалась. Но Андрей по этому поводу заметил однажды, глядя не на меня, а в стену, как он говорил всё важное:

— Ты ведь ни разу не сказала ему, что никакой «Ветровой и компании» не будет.

Было среди той почты одно письмо, которое в жестяную коробку к прочим так и не попало. Возьму, бывало, в руки, подержу — и верну в общую стопку, к тем, что «на потом». Бумагу-то отложить было нетрудно, только прочитанное из головы не шло. Теперь-то я знаю почему. В других письмах за страшным хотя бы угадывалось знакомое: молчание, стыд, чья-то давняя обида, разросшаяся за годы до проклятия. А в этом, южном, проделками дьявола объясняли убийство целой семьи. И вопрос задавали мне — женщине, которая совсем недавно выпустила книгу о том, что за проклятием стоит человек. На обложке это выглядело убедительно. За столом, с чужим письмом в руках, убедительности заметно поубавилось. Пришло оно с юга, из-под Ростова-на-Дону, из станицы, у которой было весёлое, звонкое название — подходящее письму, как бубенец гробу. Писала немолодая женщина, обстоятельно, по-старушечьи: сперва представилась вся, с именем-отчеством, с тем, кем работала и сколько у неё внуков, будто без этого я бы ей не поверила. А письмо было про дом на краю их станицы, который, сколько она себя помнит, столько и звали проклятым.

«Жила там, Анастасия Викторовна, до войны ещё, семья большая, хлебная, — писала она тем спотыкающимся почерком, каким пишут редко и оттого старательно. — Мельницу держали да лавку, первая семья на станице были. А в одну ночь и не стало их — всех, и старых и малых, до последнего дитя. А наутро на стене в горнице — он, рогатый, копыта, хвост, намалёван чёрным, во всю стену. Ну и сказали у нас: вот, мол, покарал нечистый за то, что богато жили да гордо, не по-божески. Дом стоял пустой, боялись и подходить. А после, годы спустя, въехал в него человек, приезжий, негромкий такой, обходительный, — и зажил. И ничего ему. И сын у него поднялся, и внук теперь первый на станице человек, при должности, при достатке, и дом тот ихний и поныне — полная чаша. А нечистый — нечистый их будто и не тронул. Так вот я что у Вас, по книжке Вашей, спросить хотела, как у понимающей: правда ли, что за всяким проклятием человек стоит? Или бывает же оно и взаправду — нечистое? Мне это

знать важно, и не из пустого бабьего любопытства важно. У меня отец, покойник, мальчонкой тогда был и, сдаётся мне, всё он той ночью видал, да всю жизнь молчал, до гроба молчал, я только под конец и догадалась. И вот я с этим его молчанием весь век прожила и не знаю до сих пор: кого мне жалеть, а на кого сердиться. На нечистого ведь не посердишься».

Я два вечера сочиняла ей ответ — и три раза рвала начатое. Потому что бойкое «за всяким проклятием стоит человек» здесь ничего не объясняло. Человека-то я как раз подозревала: приезжий, который очень кстати занял чужое место и зажил в доме, где до него вырезали семью. Только подозрение — ещё не ответ женщине, которая всю жизнь прожила с отцовским молчанием. Назови ей этого приезжего убийцей — и чем я лучше тех, кто когда-то назначил виноватым дьявола? Они тоже обошлись без доказательств. У меня не было ни имени, ни года, ни единой бумаги, по которой можно было проверить рассказ. Один пересказ старухи про дом в станице за тыщу вёрст. Можно было попросить подробностей. Начать хотя бы с имени. Вместо этого я сделала то, чего стыжусь до сих пор: отмахнулась. Сказала себе — мало ли, юг, старуха, страшная сказка, каких по станицам сотня. Отложила письмо и велела себе о нём не думать. Так проще: чего не можешь проверить — объяви небылицей и спи спокойно. Спалось мне, доложу я вам, плохо.

Забегая вперёд — а я забегу, простите, иначе вы не поймёте, отчего у меня и сейчас, стоит вспомнить, холодеет внутри, — скажу вот что. Позже я сяду на чужую завалинку, на самом северном севере, за тысячи вёрст от той станицы под Ростовом, и другая старуха, северная, выцветшая, расскажет мне слово в слово то же самое. Большая семья. Одна ночь. Рогатый на стене. И приезжий, что въехал и зажил на их месте, и род его на деревне поныне первый. И я вспомню это ростовское письмо так ясно, будто прочла его десять минут назад. И мне станет холодно — не оттого, что я старухе не ответила. А оттого, что за двумя рассказами, разделёнными всей этой дорогой с юга на север, проступит одно и то же. Я, дура, держала половину ответа в руках ещё до всякого севера — держала, кололась об него и отмахивалась. Запомните это моё ростовское письмо, дорогие мои. Оно тут ещё аукнется.

А пока в мой обжитой, пахнувший талой землёй и счастьем март пришла весть, которую я ждала и не ждала одновременно. Умер Вениамин Захарович Чагин. Тот самый. Почётный гражданин, меценат, человек с лицом, словно вырезанным из более твёрдого материала, чем у всех вокруг, — главный мой противник в первой книге, тот, под чьей вежливой рукой тридцать лет лежал целый город. Осенью, на обыске в его особняке с зелёной лампой, когда мимо него понесли упакованные в плёнку иконы, его хватил удар. Обширный. Полгода он пролежал в коме, ни разу не вынырнув. До приговора сыну не дожил, а предъявить обвинение ему самому толком не успели. Земной суд к нему опоздал. Узнала я об этом не из газет — газеты у нас о таком пишут осторожно, в три строки: «На восемьдесят шестом году жизни скончался почётный гражданин». Мне позвонил Серёжа, наш суздальский участковый, и сказал, понизив голос, будто сообщал государственную тайну:

— Анастасия Викторовна, а Чагин-то помер. Так и не очнулся. Прямо вот не приходя в сознание.

В его голосе облегчение мешалось с какой-то детской растерянностью — он, как и весь город, привык, что Чагин есть, что стоит над городом, как колокольня: бесполезная, безголосая, а всё же привычная часть пейзажа. И вот колокольню разобрали, а небо на её месте оказалось пустым и непривычным. Странно: казалось бы, уж кому-кому, а мне можно было обрадоваться. С этим человеком я воевала. Он загубил в моём доме двух молодых людей ради тех самых икон. Но радости не было. Только пустота. Потому что смерть врага не возвращает тебе ничего из того, что он отнял, — только закрывает счёт, по которому всё равно уже не расплатиться.

Хоронили его без той свиты, что таскалась за ним при жизни. Сын, Эдуард, — обаятельный, ясноглазый, страшный именно своим обаянием, — приехал на похороны под конвоем и стоял у могилы в наручниках, прикрытых рукавами дорогого пальто; суд над ним только начи-

нался и обещал тянуться долго. Мне рассказывали, что он и у гроба отца держался безупречно: ровная спина, непроницаемое лицо и ни слезы. На кладбище я не пошла. Не из мстительности — мстить мне было уже некому и незачем. Свою войну я закончила ещё осенью, когда Таню с Алёшей отпели как убитых. А в день похорон Чагина просто постояла дома у окна, поглядела на сад, где под снегом спал бабушкин шиповник, и сказала вслух, в пустую горницу, так, как сказала бы баба Капа:

— Спите спокойно.

Это я своим. Чагину мне сказать было нечего.

Я рассказываю, чтобы вы поняли, в каком я была состоянии, когда подошла наконец к комоду. Тут вот такая штука: можно давно перестать воевать с человеком, а окончательную точку всё равно почувствовать только тогда, когда его не станет. И вместо облегчения обнаружить внутри пустоту. Гулкую такую, сквозную. Эту пустоту хочется чем-нибудь заполнить — занять руки и голову. Просто чтобы перестать всё время думать о том, что уже закончилось. Вот я и решила разобрать письма.

В нижнем ящике комода, под бабушкиными неотправленными письмами — сорока двумя, которые она двадцать лет писала мне в никуда и складывала, потому что а вдруг, — лежали письма читателей. Те, что я отложила «на потом», потому что от них было неуютно. Их за зиму набралось несколько. В каждом оставалась какая-нибудь подробность, которая не давала успокоиться на первом разумном объяснении. Объяснение, может, и годилось — только не ко всему письму. А отвечать на одну удобную половину было бы как-то уж совсем нечестно. Одно я и вовсе спрятала, не перечитывая, — из-под Ростова Великого, странное настолько, что держать его в руках второй раз не хотелось. А другое доставала уже не раз. Доставала, перечитывала и клала обратно — как кладут на место горячее, обжёгшись, но не в силах не потрогать снова.

Конверт был без обратного адреса. Почерк твёрдый, старомодный, с сильным нажимом и завитками — так пишут люди, привыкшие писать раз и навсегда. Когда письмо пришло, я представила себе старика. Внутри — фотография и один листок. На снимке был тот самый северный терем, с которого я начала эту книгу: старый, бревенчатый, в два высоких этажа, с резными подзорами под крышей. Верхние окна были заколочены крест-накрест. Он стоял среди голых деревьев, и по тому, как стоял — не брошенный, не осевший, а наглухо зажмуренный, — было ясно: дом не пустует — он ждёт. У домов лучшая на свете память и нечеловеческое терпение; этот, судя по фотографии, ждал давно. А посередине листка — несколько слов, без обращения и подписи:

«Говорят, вы умеете слушать дома. Приезжайте. Мой — кричит. Адрес на обороте».

В тот мартовский день я достала этот конверт из ящика — и больше класть его обратно не стала. За окном текло и пахло будущим. Где-то на севере, в чужой глухой стороне, которую я и на карте сразу не нашла, стоял дом и, по уверению незнакомого мне человека, кричал. А у меня, надо вам сказать, от чужого крика довольно быстро просыпается редактор: что именно случилось, где факты и почему нельзя сказать человеческими словами? Не потому, что я такая храбрая. Просто, пока разбираешь формулировку, бояться некогда. За одиннадцать лет над чужими рукописями проверено: чаще всего написано совсем не то, о чём кричат.

Номер телефона был на обороте фотографии — тем же мелким твёрдым почерком, что и письмо, только цифры выведены ещё аккуратнее слов. Ни одной двусмысленной закорючки. Тут уж оставалось либо звонить, либо признаться себе, что не хочу. Я набрала его в тот же вечер, не дав себе остыть. Решимость — продукт скоропортящийся, я это по авторам знаю: у них её хватает ровно до первой правки, а у меня, как выяснилось, ровно до первой здоровой мысли вроде «куда ты собралась, в какую глушь, по письму от незнакомца, тебе тридцать пять лет». Здоровые мысли я в тот вечер решила опередить.

— Да! — сказал молодой мужской голос, и в одном этом «да» было столько распахнутой, неприличной по нынешним временам готовности, что я невольно отодвинула трубку от уха. Я назвала себя — и на том конце будто разом выдохнули: — Анастасия Викторовна? Это правда вы? Господи... Я уж и надеяться перестал, думал, выбросили вы моё письмо, и правильно сделали, кто ж на такое отвечает... Слушайте, только не по телефону, ладно? Я приеду. Завтра, послезавтра — как скажете. Мне до вас всего ничего.

По голосам я читаю людей едва ли не лучше, чем по лицам, — голосу труднее притвориться, особенно когда человек забывает следить за собой. Здесь за собой явно не следили: торопились, сбивались, боялись, что я сейчас скажу «извините» и положу трубку. Но больше всего меня зацепило это «и правильно сделали». Человек ещё не услышал моего ответа, а уже оправдал отказ. Тут, дорогие мои, я была специалист не только по редакторской части. Так за телефон держатся не деловые люди — так держатся утопающие. Про сеть кофеен я тогда ещё ничего не знала. Слышала только, как сильно ему нужно, чтобы на другом конце не повесили трубку. И предложила приезжать. «Всего ничего» оказалось четыреста с лишним километров, но я тогда этого ещё не знала, а он, похоже, расстояний в принципе не признавал. Есть такая порода людей: у них карта в голове меряется не в вёрстах и не в часах, а в одной-единственной величине — в силе желания доехать. Желание у него, судя по голосу, было такое, что Луну бы достал, если б на Луне стоял нужный ему дом.

Он приехал через день, к вечеру. Старика, которого я успела представить по почерку, пришлось отменить ещё во время телефонного разговора, но воображение моё без дела не сидело: к приезду гостя уже приготовило нового русского из девяностых — из тех, что до сих пор не перевелись в наших краях. Кожаная куртка, барсетка, перстень и тот особый одеколон, которым в провинции по сей день метят территорию, как коты — углы. Во двор вошёл высокий парень лет тридцати шести, в простой синей куртке, с трёхдневной щетиной и лицом человека, который не спал ночь и не считает нужным это скрывать. Остановился под голыми ещё яблонями и стал оглядываться — на дом, на колодец, на поленницу, на Филимона, вышедшего инспектировать гостя. Оглядывался жадно, цепко, будто сверял увиденное с чем-то своим, давно задуманным и никак не получавшимся. И сказал вместо «здравствуйте», ни к селу ни к городу, будто продолжая давний спор с самим собой:

— У вас всё так, как надо. Вот и я хочу, чтоб у меня — так.

Звали его Макар. Имя я записала с удовольствием — простое, земное, чуть старомодное. С именами у меня профессиональное: услышу — и уже прислушиваюсь, впору ли человеку. Этому было впору. Не имя-вывеска, не имя напоказ — что-то надёжное, обиходное, без позолоты. За чаем выяснилось, что и сам он такой: из тех, кто не говорит «я мечтаю», а говорит «я надумал» и идёт делать. Я, как всегда в подобных случаях, поставила на стол сразу всё, что было в доме, потому что голодного и невыспавшегося человека сначала кормят, а уж потом слушают, иначе он расскажет не то, что есть, а то, что от голода кажется. Он ел, отогревался и понемногу рассказывал. Ни разу не приукрасил себя, не пустил пыли, не уронил ни одного из тех словечек, какими столичные гости любят обозначить свою успешность как бы между прочим. Даже о беде своей поначалу говорил деловито — обстоятельно, без жалости к себе, прикидывая, что тут можно починить. Он держал в Москве сеть кофеен. Я спросила, как называется, — и он усмехнулся той невесёлой усмешкой, какой встречают шутку, слишком похожую на собственную жизнь.

— «Дом кофе», — сказал он. — Сам придумал, ещё с первой палатки у метро, лет десять назад. Вот ведь как вышло, Анастасия Викторовна: десять лет людям дом продаю — тепло, корицу, уют на двадцать минут перерыва, целый «Дом кофе». А своего дома нет. Торгую тем, чего у самого отродясь не было.

Начал он в нулевые, на кофейной волне: с одной точки, разросся до сети. И поднялся, как я потом проверила Андреевым дотошным методом, честно, без мути, без чужих похорон в

основании. К тридцати шести денег стало достаточно, чтобы исполнить мечту. А мечта у него была ровно одна, и не московская — никаких тебе вилл, яхт и часов с турбиййоном.

— Меня к бабке возили на лето, — произнёс Макар, грея обе ладони о чашку, как греют над огнём. — На север, в деревню. Глухомань — медведь близко. Деревня помирающая: стариков десяток, а детей моего возраста — никого. Скука смертная, выть хочется.

Он рассказывал, а я уже понимала: это не отступление про детство, это мы добрались до самого начала — ещё до первой кофейни и до денег, на которые теперь можно было купить дом, но почему-то не получалось в нём жить. Бабка, по его словам, была северная, суровая, неласковая на слова, но растила его правильно — той правильностью, которая не в словах, а в руках. Кое-что из этой школы сохранилось: владелец сети кофеен пил мой пакетиковый чай без малейшего снисхождения и клал ложку на блюде выпуклой стороной кверху — как кладут те, кого в детстве учили, что иначе ложка «плачет». Я смотрела на эту ложку и почти слышала его бабку. Есть привычки, в которых чужой голос остаётся на всю жизнь, хотя сам человек давно уже не помнит, почему делает именно так.

— И вот стоит на краю дом, — продолжал Макар. — Огромный, в два этажа, заколоченный, страшный. Все наперебой: туда не лезь, там нехорошее, там людей резали. Ну а я что — мне десять, мне как раз и надо туда, куда нельзя. На спор сам с собой полез. Окно с той стороны отжал, протиснулся — я тощий был, как глиста, — и влез.

Он замолчал, повертел чашку. Когда заговорил снова, голос стал тише, и в нём появилось то детское изумление, которое люди проносят через всю жизнь, как монетку в кармане.

— И знаете, Анастасия Викторовна... не страшно мне там было. Совсем. Я ж готовился, что напугаюсь, для того и лез — пощекотать нервы. А вошёл — и тихо. Пусто, пылью пахнет, голуби под крышей возятся, и свет через щели в досках — полосами, через весь этаж, и в полосах пыль стоит, не шелохнётся. И так мне там сделалось... не знаю, как сказать. Спокойно. Будто меня тут ждали и наконец дождались. У бабки в избе не было так спокойно. Нигде не было. А в страшном этом доме — было. — Он посмотрел на меня, проверяя, не смеюсь ли. Я не смеялась.

— Я там полдня просидел. На полу, под лестницей этой расписной. И пообещал себе: вырасту, заработаю денег — выкуплю. И семью сюда привезу, своих, чтоб дом снова жил, чтоб не один стоял. Десять лет дураку было. — Он усмехнулся — криво, одними губами. — А я этой картинкой потом двадцать пять лет грелся. Работал, деньги откладывал, ещё одну кофейню открывал, потом ещё... А сам всё к тому полу шёл, под лестницу. Смешно, да?

Тут в разговор вмешался Филимон — по-своему, без слов, но с правом решающего голоса. Кот в моём доме исполнял должность службы безопасности, и его заключения я ценила выше иной экспертизы. Рыжий разбойник вышел из-под лавки, обошёл гостя по широкой дуге, обнюхал его ботинки с дотошностью таможенника, проверяющего подозрительный багаж, — и сделал то, что делал редко: запрыгнул к Макару на колени, потоптался, ввинтился и улёгся, привалившись к его животу с видом окончательным и обжалованию не подлежащим. Макар замер с чашкой в руке, боясь шевельнуться, как боялся спугнуть редкую птицу.

— Это он вас одобрил, — перевела я. — Поздравляю, вы прошли. У него знаете какой конкурс? Девяносто человек на место, и почти всем отказ.

Макар посмотрел на кота, на меня и впервые за весь тяжёлый вечер улыбнулся по-настоящему. А я окончательно решила, что поеду. Не только из-за дома. Из-за этого взрослого, заматанного человека, который так обрадовался чужому коту и теперь сидел неподвижно, лишь бы тот не передумал. Эту осторожность с нечаянно доставшимся теплом я, к сожалению, понимала очень хорошо.

— Вы, наверное, думаете, чудак, — грустно произнёс он, поймав мой взгляд. — Кофе людям продаю, а сам чай хлещу. Так я ж, Анастасия Викторовна, кофе по работе пью, по десять чашек на дню — это уже не удовольствие, это дегустация, контроль качества. Я давно понял:

кто кофе продаёт, тот его сам разлюбит первым. Как кондитер, который дома ест картошку. А чай — это другое. Чай — это когда тебя кто-то ждал и поставил чайник. У меня этого, считай, лет с десяти и не было — чтоб ждали и поставили. Всё сам.

Макар произнёс это без жалобы, буднично, как сообщают прогноз погоды, и от этой-то будничности у меня сжалось под рёбрами. Я знала эту интонацию. Сама годами так говорила про свою мать — ровным голосом, чтобы не зазвенело. Теперь его первые слова во дворе — «Вот и я хочу, чтоб у меня — так» — звучали совсем иначе. Не на колодец он смотрел, не на поленницу. Во всяком случае, не только на них. Ему хотелось того, что нельзя было привезти в дом вместе с мебелью: чтобы в нём ждали, ставили чайник, знали, где чья чашка. И ведь я сама ещё недавно не верила, что такое бывает не только у других. Поэтому расспрашивать про цену покупки и благоразумие вложения мне не хотелось. Хотелось понять, что случилось с тем местом, где десятилетнему мальчишке однажды стало спокойно. Макар погладил кота, помолчал, будто решая, говорить ли дальше, и продолжил.

— Вырос. Заработал. Выкупил — год назад. Год дом из руин поднимал, мастеров со всей области свозил, не евроремонт же делать в таком — реставраторов настоящих искал, чтоб всё по-старому. И вот когда уже почти всё, мне в районе и рассказали. Добрые люди, как водится, — после сделки, не до. Что я, оказывается, купил. Что там в девяностых, на новоселье, прежнего хозяина со всей семьёй и гостями положили — тринадцать человек, из автоматов, детей не пощадили. И что до того, при советах, тоже убивали — резали, и не раз. И про знак на стене рассказали. И что место — дьявольское, проклятое, и зря я, мил человек, дурак московский, в него полез на свою голову.

— А вы? — спросила я, хотя по тому, как он выпрямился, уже знала ответ.

— Я не верю в дьявола, — сказал он просто, без вызова. — А тринадцать человек ведь убили. Кто-то это сделал. И если сказать «место проклятое», то можно больше ничего не искать? Я вас в ЖЖ читал. Потом книжку купил, как вышла. Вы про свой дом так и писали: проклятие — это когда людям удобно не смотреть. Вот я и подумал: если кто и услышит, что мой дом на самом деле говорит — то вы. Я-то слышу, а разобрать — не могу. Не моё ремесло.

Андрей всё это время сидел в своём углу, у печки, и молчал — пил чай и смотрел на гостя так, как смотрят на новобранца в первый день: без вражды, но внимательно, прикидывая, чего тот стоит в деле. Один раз медленно, в три удара, побарабанил пальцами по столу. Этот жест я уже знала: Андрей что-то обдумывал, и торопить его сейчас было бесполезно. Мне хотелось спросить, что он скажет, верит ли Макару, что думает про ночные крики. Но я помолчала. Тоже, между прочим, результат совместной жизни — раньше непременно спросила бы всё разом. Андрей встал, отнёс чашку в раковину, вымыл — он мыл за собой в любом состоянии, я подозревала, что и под обстрелом мыл бы, — и сказал в окно, не оборачиваясь:

— Переночуем, а утром я бак у «Нивы» заправлю — он полупустой. Тогда и поедем. Дороги, говорят, уже чистят.

Это у него означало «да». И ещё означало «я с тобой — одну не пущу». Я давно научилась переводить с андреевского: в нескольких словах про бак у него умещалось больше, чем у иных в трёх томах про любовь.

Макару я постелила на диване в горнице. После четырёхсот километров за рулём и всех этих разговоров у него уже слипались глаза. Я показала ему, где выключается свет, пожелала спокойной ночи и пошла собирать наши вещи — утром хотелось выехать без спешки.

Встали мы рано и позавтракали втроём. Андрей отправился заправлять «Ниву», Макар вышел прогревать свою машину, а я понесла кота Раисе Степановне — тылу, разведуправлению в платке и грозе всех окрестных сплетен. Филимон воспринял переселение к соседке как личное оскорбление и государственную измену разом: всю дорогу в корзине он молчал тем оглушительным молчанием, каким молчат на тебя смертельно обиженные коты, а у Раисы демонстративно отвернулся к стене и не глядел в мою сторону, пока я объясняла про сметану,

корм и широкое его толкование чужих границ. Раиса слушала терпеливо. Кота она кормила ещё до моего появления в Суздале, так что инструкции, надо полагать, требовались главным образом мне — чтобы не чувствовать себя предательницей, бросающей родное существо на произвол чужой сметаны. Оставалось объяснить, куда мы собрались и зачем, и я коротко пересказала ей Макарову историю — про дом, который называли дьявольским местом, про тринадцать убитых, ночные крики и знак.

— Поезжай, Асенька, — сказала Раиса, с лицом человека, которому доверили государственную ценность. — Накормлю твоего разбойника, не похудеет. А ты там это... — Она пожевала губами, подбирая слова. — Не лезь, где темно, без Андрея. И знак коли увидишь — не пугайся. Он рукотворный. У высших сил другие заботы, им недосуг по стенам рисовать.

Раиса вышла меня проводить за калитку. Встала, скрестив руки на груди поверх вечного своего платка, и смотрела, как Андрей укладывает в «Ниву» наши пожитки. Лицо у неё было непривычное — не сердитое, не насмешливое, а тревожное.

— Ты вот что, девонька, — произнесла она наконец, не выдержав. — Ты там по чужим подвалам-то не больно лазь. Я тебя знаю, ты ж как кошка — где щель, туда и нос. А чужой подвал — он чужой и есть. В нём чужое лежит, не твоё, не трогай без надобности.

Я пообещала быть осторожной. Обещать не лезть совсем было бы уже неприлично: мы обе слишком хорошо это знали. Раиса поджала губы, но спорить не стала — видимо, и такую уступку сочла достойной занесения в протокол. А когда я села в машину, она сунула мне в окно узелок — тёплый, тяжёленький, пахнувший на весь салон. Пирог. С капустой, её фирменные.

— Пирог по дороге съешьте, пока тёплые, — сказала строго, отступая от машины. — Вернётесь, я ещё напеку. Слышишь?

Я слышала. Про еду ей сейчас было говорить легче, чем про свой страх за нас. Она всё напоминала, всё наказывала — будто могла этой заботой хоть немного уберечь. Мы тронулись, я махала ей в заднее стекло, она стояла у калитки, маленькая, в платке, и просто смотрела, пока поворот не скрыл её из виду. Прослезилась я над её узелком ещё на выезде из Суздаля, не доехав до трассы. А вот слова про рукотворный знак пропустила мимо ушей. То есть услышала, конечно, но приняла за утешение: не бойся, мол, ничего там такого нет, люди всё напридумывали. Раиса часто говорила самое важное именно так — уже в калитке, вполоборота, тем будничным голосом, каким сообщают, что соль закончилась и надо бы прикупить. За зиму я вроде бы научилась её слушать. Вроде бы — хорошее выражение, удобное. Сколько раз меня выручало, пока не требовалось предъявить результат.

Опущу дорогу — точнее, не всю. Первые двести километров были обыкновенные, владимирские да ярославские: поля в серых проплешинах снега, заправки, фуры и придорожная торговка с курицей в фольге. Помните мою автобусную попутчицу по дороге в Суздаль? Так вот, теперь попутчицы не было, а курица всё равно нашлась. На этот раз пахучее дорожное счастье я приобрела добровольно, при полном узелке Раисиных пирогов. Торговка заверила, что «совсем не пахнет». Знакомство можно было считать состоявшимся. Купила я её не от голода, а от желания ухватиться за что-нибудь знакомое. В прошлый раз тоже ехала к страшному дому, тоже не знала, что меня там ждёт, и вот, пожалуйста, — жива, счастлива, кот есть кому оставить. Рассуждение для материалистки сомнительное, признаю. Но материалистка тоже человек, особенно когда впереди неизвестно что, а под рукой — вполне определённая курица гриль. На полпути Андрей остановился у обочины, и мы развернули фольгу на расстеленной газете. Ели руками, вытирали пальцы, я ворчала на покупку и берегла пироги, которые, разумеется, были вкуснее. И понемногу отпускало. Пока сидишь рядом с живым тёплым человеком и споришь, куда девать жирную бумагу, ты ещё обыкновенная женщина в дороге, а не героиня истории, которую сама себе успела насочинять.

— Ну, поехали дальше, — произнесла я, когда всё было убрано. И прозвучало это уже заметно бодрее.

На последней живой заправке перед поворотом в никуда — а я уже научилась отличать живые от мёртвых: на живой есть лужа разлитой солянки и собака, — мы остановились долить бак и купить, чего бог пошлёт. Бог послал немного: витрину с окаменевшими пряниками, кофе из автомата, на котором от руки было приписано «ПАДОЖДИ КАПЛИТ», и продавщицу Зою. Что она Зоя, я узнала в первые же тридцать секунд: продавщица принадлежала к тому драгоценному типу придорожных женщин, которые рассказывают тебе всю свою жизнь, пока считают сдачу. К концу второй минуты я знала про мужа, ушедшего «к этой, с маникюром», про сына в армии и про то, что хлеб теперь возят два раза в неделю, «и то если дорогу не развезёт». А когда я, расплачиваясь, обронила, в какой дом мы едем, Зоя осеклась на полуслове, будто я выключила её щелчком, и впервые за весь разговор она посмотрела на меня по-настоящему — внимательно и с жалостью.

— В тот? — переспросила тихо, хотя в магазинчике, кроме нас, не было ни души.

Заглавную букву в этом «Тот» я расслышала отчётливо. Она добавила, уже отворачиваясь, тем особым деревенским полушёпотом, которым у нас сообщают самое важное и самое нежелательное:

— Свечку там не зажигайте. Слышите? В том доме свечку нельзя. Бабы сказывали — кто там свечку запалит, у того в семье покойник к году.

Я пообещала не зажигать. Андрей, стоявший рядом, посмотрел на Зою долгим своим взглядом и произнёс неожиданно мягко:

— Не запалим, хозяйка. У нас фонарь.

Зоя кивнула с облегчением, как будто фонарь и вправду что-то решал.

После поворота мир стал редеть. Асфальт сменился разбитым грейдером, грейдер — раскисшей колеёй, в которой «Нива» шла, переваливаясь, как утка. По обе стороны встал лес — не тот ласковый подмосковный лесок, куда ходят за грибами, шашлыками и фотографиями, а настоящий, чёрный, мокрый, серьёзный лес, который стоял тут задолго до нас и будет стоять долго после и которому до наших дел ровно никакого дела не было. Среди него ещё попадались деревни. Вернее, избы: деревень уже не было, и разница, объясню вам, огромная, слышная даже сквозь шум мотора. Изба без человека постепенно перестаёт быть домом и делается просто сложенными определённым образом брёвнами — оседает, темнеет, вваливает крышу внутрь, зарастает по окна бурьяном. Мы проезжали целые улицы, и я ловила себя на том, что считаю печные трубы. Они пережили и хозяев, и крыши; стояли посреди сухих стеблей иван-чая, как надгробия, и только по ним ещё можно было понять, что тут жили, топили, пекли, рожали.

— Считаешь? — не оборачиваясь, спросил Андрей, который меня к тому времени читал не хуже, чем я чужие рукописи.

— Считаю, — призналась я.

Считать — это у нас, у Полётовых, наследственное. Дурная, надо сказать, наследственность для здешних мест: тут если начать считать всё, что отжило и сгинуло, никаких пальцев не хватит, ни своих, ни соседских.

Андрей вёл молча, без рывков, осторожно выбирая дорогу между промоинами. Лес подступал всё ближе, ветки едва не задевали машину. Наконец он сказал, скорее дороге, чем мне:

— Глухо тут. Случись что — «скорая» к утру доедет. Запомни это, Ась. На всякий.

Я запомнила. У Андрея «на всякий случай» имело нехорошую привычку оказываться необходимым: прошлой осенью показанный им запасной поворот спас меня от серой «десятки» на дороге во Владимир. Тогда я ещё фыркнула — от кого мне уходить просёлками, от налоговой? С тех пор к подобным замечаниям относилась без прежнего остроумия. Посмотрела на дорогу, на лес, на тёмную полосу колеи впереди и постаралась запомнить, где мы свернули в последний раз.

Дом Макара стоял в Погорелове — полувывернутой деревне под Чухломой, на севере Костромской области. Десяток изб по обе стороны заросшей улицы, и почти все — слепые: кре-

сты досок на окнах, провалившиеся, поросшие мхом крыши, палисадники, отданные обратно бурьяну и лесу. Живых дворов я насчитала два, может, три — дымок над трубой, собака на цепи, поленница под навесом. Деревня умирала тихо и давно, как умирают в нашей стране сотни таких деревень: без драмы, без некролога, просто год за годом гасло по окну, и оставалось всё меньше тех, кто мог назвать прежних хозяев. А в самом конце улицы, за двумя голыми ещё деревьями, стоял он.

С описаниями домов я работаю много лет, поэтому знаю, как легко в таком месте соврать: нагнать жути, напустить тумана, навесить на дом эпитетов, как игрушек на ёлку. Начну с того, что увидела. Красивый был дом. Двухэтажный бревенчатый терем на высоком кирпичном цоколе, потемневший от времени и сырости, но целый — после тех развалин, мимо которых мы проехали, это замечалось сразу. А под высокой крышей шло резное кружево, и на него я засмотрелась: такое не всякий музей у себя сбережёт, а тут оно висело в лесу, для медведей и грибников. Потом взгляд опустился к окнам. Внизу — занавешенные, тёмные, спящие. А наверху — доски крест-накрест. Я перевела взгляд с резного подзора на заколоченные окна. Доски были серые, старые, и прибили их, судя по всему, давно, с той основательностью, с какой заколачивают не на сезон, а навсегда. Вот это с красотой дома никак у меня не сходилась. Резьбу делали, чтобы на неё смотрели, окна — чтобы смотреть из них. А здесь их закрыли досками и оставили так на годы. Терем стоял среди мёртвой деревни, красивый, с заколоченными окнами наверху, и от этих крестов мне было неуютнее, чем от всех покосившихся изб по дороге.

Макар выехал из Суздаля раньше нас и к тому времени, как мы въехали в деревню, уже ждал у калитки своего дома.

— Ну вот, — тихо и как-то виновато произнёс он, будто заранее извиняясь перед нами за эти заколоченные окна. — Знакомьтесь. Кричит дом, по-моему, как раз отсюда, сверху, из закрытых комнат. Я потому туда и не лазил ни разу. Заколочено — и пусть.

Я вышла из машины. Под ногами хлопала размокшая колея, а вдоль забора ещё лежал серый, слежавшийся снег. От жилых дворов тянуло печным дымом; у калитки пахло мокрым деревом — так обыкновенно, что я зачем-то втянула носом воздух ещё раз. Никакой чертовщиной не пахло. Хотя чем она должна пахнуть, я и сама не знала. Войдя во двор, я почувствовала — говорю как было, хоть и неловко мне, материалистке, в этом признаваться. Дом меня узнал. Просто было такое ощущение — как будто вошла в палату к тяжелобольному, а он повернул голову, остановил на мне взгляд и чуть подался навстречу: вдруг эта пришла наконец не посмотреть, как все, а ради меня. Дом стоял зажмуренный сверху, тёмный, огромный, и всё в нём было неподвижно, но ощущение, что он насторожился, прислушался именно ко мне, оказалось таким сильным, что я остановилась посреди двора. Андрей, шедший сзади с сумками, чуть не налетел на меня.

— Чего? — спросил он.

— Ничего, — ответила я. — Здравуюсь.

И это была правда. Стояла и молча здоровалась с чужим домом — и чувствовала, что он мне отвечает. Потом много раз объясняла себе эту минуту усталостью, дорогой, нервами, памятью о собственном первом приезде в Суздаль. Объяснений хватало. Но в ту минуту мне было важнее поздороваться, чем разобраться, отчего я это делаю. Дом ждал слушателя. Я приехала слушать. Мы друг друга, что называется, нашли.

Макар, к слову, за нами во двор не пошёл. Постоял у калитки, поглядел, как я поднимаюсь на крыльцо, и остался снаружи — рослый мужик, поднявший себя из ничего, владелец сети кофеен, хозяин этого самого терема со всеми его резными подзорами.

— Я тут постою, — пробормотал он мне в спину. — Я это... машину покараулю.

Машину. На пустой деревенской улице. Спрашивать, от кого именно, я не стала. Постоял он, впрочем, недолго: когда мы уже были в сених, догнал нас, сунув руки в карманы, — видно,

стыд перед гостями всё-таки пересилил страх. Андрей поставил сумки у стены, и тут же, в сенях, мы разулись. Макар достал нам тапочки, переобулся сам. Куртки пока оставили на себе — в доме было прохладно.

Изнутри дом поразил меня не запустением, к которому я всё ещё зачем-то готовилась, а красотой. После всех рассказов про реставраторов и каждую досочку на своём месте я всё равно ожидала увидеть пыльные простыни на мебели, фанерные перегородки, слои советских обоев поверх старого дерева — хоть какие-нибудь следы того уродства, каким обрастает старый дом, переживший три власти и десять хозяев. А вошла — во дворец. Я запрокинула голову: над парадной лестницей был расписан весь потолок. В середине раскрывался большой узорный цветок, вокруг него шли прямоугольные рамки, розоватые, зеленоватые, с тонкими завитками внутри, и, пока я рассматривала один, взгляд уже цеплялся за следующий. Пришлось напомнить себе, что приехала я сюда не на экскурсию.

Я прошла дальше по первому этажу, заглядывая в комнаты. В одной из них было арочное окно с цветными стёклами — красными, синими, жёлтыми; на вымытых половицах под ним лежали разноцветные пятна. Что-то почти губернское, барское, неожиданное здесь, за лесом, в деревне, где едва набиралось три жилых двора. И всё это было не остатками былого великолепия, среди которых полагалось вздыхать о безвозвратно утраченном, а отмытым, починенным, выправленным до последнего завитка. Рисунок на потолке можно было разбирать во всех подробностях, дерево снова обрело цвет, в оконных переплётах не было ни одного пустого гнезда, заткнутого фанеркой. Макар не преувеличивал. Деньги в этом доме потратили так, что видна была работа, а не деньги. И посреди всей этой красоты широкая лестница с тёмными перилами поднималась ко второму этажу — и упиралась в глухой дощатый щит.

Я долго стояла перед лестницей и не могла отделаться от чувства, что смотрю на чьё-то признание в любви — давнее, немое, плотническое. Мастер возился с деревом там, где другой давно бы решил, что и так сойдёт. Так делают, когда любят саму работу, не только будущую плату за неё. Я провела пальцами по перилам — гладким, удобным для ладони, — и вдруг совершенно некстати подумала: по ним ведь и тогда поднимались. Держались за это дерево. Здесь убивали людей, а лестница оставалась красивой. Ничего в ней не почернело от стыда, не перекошилось, не выдало случившегося. Отчего-то именно это оказалось трудно принять: хотелось, чтобы у страшного были приметы, чтобы его можно было узнать с порога и не идти дальше. А тут — цветы на потолке, цветной свет и перила, которые не хотелось выпускать из руки.

— Год собирал мастеров, — сказал Макар, и в голосе у него была та тихая, неназойливая гордость, с какой говорят не о покупке, а о выздоровлении близкого человека. — Реставраторов настоящих, не шабашников с рынка. Каждую досочку — на своё место. Где сгнило — делали точно такую же, по старому образцу, чуть не из того же дерева. Я ж не евроремонт хотел сюда вкатить, с пластиком да с гипроком. Мечтал, что дом станет, как был при первом хозяине. Печи тоже привели в порядок. Я зимой приезжал, протапливал — жалко было бы всю эту работу сыростью сгубить.

Мебель он тоже подбирал под дом — вещи старые, добротные, будто и не уезжавшие отсюда никогда: тяжёлый буфет тёмного дерева с резным навершием и гранёными стёклами, комод с тусклыми медными ручками, венские стулья, кровать с никелированными шишечками. Не гарнитур, купленный разом, чтобы закрыть вопрос с обстановкой, а каждая вещь отдельно, каждая — найденная. Макар собирал тот дом, который придумал себе в десять лет на пыльном полу, и подгонял под него всё, вплоть до последней мелочи, вьедливо, любовно, как подбирают единственно верное. Я могла представить, сколько раз ему предлагали «почти такое же». И сколько раз он отказывался. Тут я его понимала: «почти то слово» меня тоже обычно не устраивает, хотя окружающие иной раз бывают готовы доплатить, лишь бы я уже успокоилась.

И вот при всей этой выправленной, выкупленной, вымечтанной красоте было в доме одно, от чего по затылку прошёл холодок, не имевший к нечистой силе ни малейшего отношения. Здесь никто не жил. Всё стояло готовое — застеленные кровати с подзорами, посуда в буфете, чистые крашенные полы, занавески на нижних окнах, — но нигде ничего не было оставлено на минутку, забыто до вечера, положено не на своё место, зато под руку. Дом обставили до последней солонки, а человека в нём всё ещё не случилось. Ни запаха еды, ни неубранной чашки, ни того маленького беспорядка, которым жизнь немедленно портит самую хорошую композицию. И от этого было неуютнее, чем от паутины: с паутиной понятно, дом бросили. А этот приготовили. Давно приготовили — и всё никак не начинали в нём жить.

Светёлку наверху Макар показал с особой, почти отцовской гордостью. Мы вернулись в сени и оттуда поднялись по отдельной лестнице. Это была единственная доступная комната второго этажа; остальные оставались за дощатым щитом. Маленькая, в три окошка, с лежанкой у печного бока, она была залита ровным северным светом — белым, рассеянным, без резких теней, таким, в котором хорошо не жить даже, а выздоравливать. У окна стоял небольшой столик.

— Я тут хотел кабинет себе, — начал Макар и осёкся. — То есть мечтал. Сидеть вот, кофе пить, на лес глядеть.

Я посмотрела на лес за окнами и промолчала. Очень легко в таком месте сказать человеку: «Ну вот и будете сидеть, чего вы». Сама чуть не сказала. Только он ведь не за разрешением пить кофе меня позвал, и от моего бодрого «будете» ему вряд ли стало бы легче. Пока что собственный кабинет у него проходил по разряду несбыточного — при том что и кабинет был, и кофе имелся в количествах, достаточных для небольшого города.

Пока Макар возился с непослушной печной вьюшкой, я сделала то, что делаю в чужих домах раньше, чем успеваю себя одёрнуть: выдвинула ящик стоявшего у окна столика. Не из любопытства — вру, конечно, именно из любопытства, но я привыкла выдавать его за профессиональный интерес. Удобная у меня профессия: при известной ловкости на неё можно списать немало невоспитанности. Ящик был почти пуст. В дальнем углу лежала круглая жестяная пуговица от мужской рубахи, тёмная, с якорьком. Ерунда, мусор — такие в старых домах годами кочуют из угла в угол, потому что выбросить жалко, а пришить не к чему. Я повертела её в пальцах, положила обратно и задвинула ящик. Макар наконец совладал с вьюшкой, и мы спустились вниз.

— А живёте-то вы где? — спросила я, хотя уже догадывалась.

— В райцентре, квартиру снимаю. — Макар отвёл глаза. — Не могу я тут ночевать, Анастасия Викторовна. Один — не могу. И сам не пойму отчего: днём хожу, любуюсь, гвоздик поправлю, на лестнице постою, порадуюсь — а как стемнеет, так будто кто в спину смотрит. Между лопаток. Я не суеверный, я бизнесмен, в приметы не верю, у меня кофейни не по гороскопу открываются. А вот не могу — и всё. Сбегаю, пока ещё светло, как мальчишка.

— А кричит — это как? — спросила я. — Голосом?

Он подумал, не торопясь с ответом.

— Не голосом. Я вам не скажу, что слышал слово или вой, врать не буду. Скрипит, стучит, ветром по щиту наверху шаркает — обыкновенное, как в любом старом доме. Только я-то знаю, что здесь произошло, поэтому у меня всё в один звук складывается. Днём — дом как дом. А ночью...

— Понятно, — сказала я.

И это действительно можно было понять. Десятилетний мальчишка пришёл сюда пугаться — и не испугался. Взрослый человек вернулся жить, узнал, кого здесь убили, и теперь слышал это знание в каждом скрипе. У памяти есть такая неприятная способность: добавлять к звуку то, чего в самом звуке нет. Попробуй потом объясни себе, что это всего лишь доска. Я пробовала. Получалось с переменным успехом.

Андрей всё это время молча ходил за нами и трогал то косяк, то перила, то простенок — он так с любым домом знакомился, на ощупь, как врач обстукивает больного, не вполне доверяя рассказу о симптомах. Возле толстого тёсаного столба, державшего лестницу, задержался, медленно провёл по дереву ладонью.

— А это у тебя что? — спросил, не оборачиваясь.

Я подошла. На столбе, на уровне глаз, был вырезан небольшой знак: ромб, а внутри сплетённые в тесный вензель буквы — сразу и не разберёшь. Подняла голову и увидела такой же на матице под потолком, потом ещё один — на наличнике двери в горницу. Один и тот же значок, аккуратный, уверенный, повторённый в разных частях дома, как подпись.

— А, это клеймо, — отозвался Макар. — Реставраторы объяснили: так раньше мастера свою работу метили. Кто рубил — тот и ставил, вроде подписи на картине. Этот дом, говорят, один человек строил, в самом начале века, из здешних мужик, разбогател на стороне да и отгрохал себе хоромы. Вот и оставил повсюду своё, чтоб всякий знал, чьих рук добро.

— Хозяйственный был, — пробормотала я.

Привычка у меня профессиональная, неизлечимая: где повтор — там глаз задерживается. Не потому, что повтор непременно ошибка; иной автор как раз в повтор и прячет самое важное, сам того не замечая. Тут важно понять, зачем одно и то же поставлено в разных местах. Макар предложил объяснение простое и вполне убедительное: мастер подписывал свою работу. Я ещё раз посмотрела на ромб, попробовала разобрать переплетённые буквы, не разобрала и пошла дальше. В тот вечер мне куда интереснее было смотреть, что в доме сохранилось, чем выяснять, кто именно это сделал.

Макар провёл нас по всем открытым помещениям: показал обе горницы, кухню, сени, даже на чердак сводил — посветил фонарём в пыльные углы, где лежали оставшиеся от прежних хозяев лыжи неведомой эпохи и расхлябанная прялка. А я, пока он водил нас из комнаты в комнату, занималась своим обычным тайным делом: слушала, как дом звучит под ногами. У домов ведь есть голос, буквальный, дощатый: где-то пол поёт, где-то молчит, где-то отзывается так, что невольно переносишь вес на другую ногу. Здесь половицы были крепкие, отклик ровный, привычный — после полугода в бабушкином доме я уже умела кое-что различать. Но под заколоченной лестницей замедлила шаг. И ещё в одном месте, у самого угла сеней, доски отозвались иначе — гулко, словно под ними оставалась большая пустота. Подпол, решила я. Погреб, мало ли. Постояла секунду, прислушалась и двинулась за Макаром. Устала с дороги, нахваталась впечатлений; хотелось уже сесть, вытянуть ноги и перестать хотя бы на полчаса что-нибудь замечать.

— А подвал? — спросила я, когда мы снова оказались в сенях и под лестницей показалась низкая, обитая жестью дверца.

— А подвал я не трогал, — сказал Макар с неловкостью школьника, у которого проверили как раз недоделанный урок. — То есть мастера полезли было, а потом плюнули, рукой махнули. Сыро, говорят, внизу, и стена там одна... неправильная. Не по дому стена, лишняя. Они её и оставили — мол, не несущая, ничего не держит, чёрт с ней, не до неё. Я и не настаивал, честно. Руки не дошли. Да и... не тянет туда. Совсем не тянет.

«Неправильная стена». С этой формулировкой мне уже хотелось разобраться. Не потому, что я что-нибудь понимала в стенах, — для этого рядом был Андрей, — а потому, что много лет жила бок о бок с фразой «тут что-то не так» и знала: самое трудное начинается, когда просишь объяснить, что именно. Лишняя — значит, поставлена позже? Не там, где должна стоять? Что она закрывает? Можно было взять фонарь и полезть посмотреть немедленно, но за окнами уже темнело, ноги гудели, а Макар отвёл нас в две приготовленные комнаты с нагретыми печками — единственные во всём доме, где было тепло и хоть немного по-живому. Мы поужинали, и подвал остался на потом. Сובлазн изобразить себя женщиной, которую ничто не остановит перед загадочной дверью, у меня, конечно, имеется. Но ночью в чужой подвал,

едва держась на ногах от усталости, ходят преимущественно героини очень плохих рукописей. Я такие правлю. Хотелось бы ещё и выводы делать.

Засыпала я в ту первую ночь трудно. Дом вокруг жил своей ночной жизнью: где-то потрескивало дерево, где-то вздыхала половица, по чердаку, кажется, кто-то прошёл — мышь, куница, ветер, выбирайте на вкус, объяснений хватало. Я лежала под чужим одеялом, слушала и говорила себе строго, по пунктам, как говорят с испуганным ребёнком: это дерево остывает, это ветер, это птица под крышей возится. Всё имело имя. Всё, кроме ощущения, что дом не спит. Что он лежит так же, как я, навзничь, с открытыми в темноту глазами, чего-то ждёт — и в этом ожидании нет угрозы, только терпение. Не знаю, почему от терпения было ещё неуютнее. Может, потому, что оно ничего от меня не требовало вслух, а я всё равно чувствовала себя обязанной встать и наконец понять, чего от меня хотят. Переутомление, сказала я себе. Незнакомое место. Нахватаюсь чужих страхов. Формулировки были хорошие, добротные. Уснуть под них не получалось.

И всё-таки под утро я уснула — и приснился мне сон из тех, что я не люблю, потому что они слишком похожи на работу. Будто правлю рукопись, толстую, чужую, и всё в ней гладко, грамотно, не подкопаешься, а я листаю и чувствую: где-то соврано. Не вижу где, а чувствую, как чувствуешь сквозняк в наглухо закрытой комнате. Добираюсь до середины, а там — пустая страница. Одна. Белая, без единой буквы, вшитая прямо посреди текста, и все вокруг ведут себя так, будто её нет, будто так и надо. И вот тут я с ужасом понимаю, что вся книга написана ради этой пустой страницы: чтобы её никто не заметил, чтобы проскочили, не споткнувшись. Проснулась с колотящимся сердцем и долго смотрела в незнакомый потолок. Первая мысль была совершенно нелепой: это дом, это он мне свою пустую страницу показывает. Я лежала, ждала, пока отпустит, и никак не могла отделаться от белого прямоугольника перед глазами. Сон кончился, а чувство, что я что-то перелистнула и не прочла, осталось.

Утром мы поехали в райцентр — за хлебом, за солью, за свечами на случай перебоев с электричеством и, чего скрывать, за разговорами. Зоино предупреждение про свечи я помнила. Но пообещала-то я их не зажигать. Про покупку мы не договаривались. Разницу я находила существенной — особенно пока не представляла, что буду делать с этой разницей в тёмной комнате, если погаснет свет. Но ехала я прежде всего послушать других: дом начинаешь понимать не только по тому, что сохранилось внутри, но и по тому, что про него говорят снаружи. А ещё — по тому, о чём умолкают. Надо лишь не перепутать готовую страшилку с воспоминанием и не спугнуть человека вопросом раньше, чем он успеет сказать хоть что-нибудь своё.

Поначалу весь райцентр для меня уместился на одной улице: два магазина, автостанция да старая колокольня, с которой давно сняли колокол, а повесить новый так и не собрались. Зато меня там опознали мгновенно. В малых городах чужого видно за версту, а уж чужого, который поселился в том самом доме, — за две. В магазине, едва я открыла рот и спросила соль, наступила пауза, вполне достойная отдельной ремарки: разговоры стихли, зато взгляды работали за всех. Продавщица отпускала мне соль и спички с лицом сапёра на минном поле. Когда выходила, краем глаза поймала знакомое движение — крестное знамение мне вслед, мелкое, привычное, машинальное. После Суздаля я отнеслась к этому спокойно, почти как к прописке: приняли к сведению, определили, в какую графу занести. Документов, что приятно, не потребовали.

Я эти городки знаю и люблю той трудной любовью, какой любят несносную родню. В них всё на виду, всё друг про друга известно на три поколения вглубь, и укрыться от этого знания почти невозможно. Зато могут заметить, что ты второй день не выходишь за хлебом. Могут принести суп, пока болеешь, а могут годами не замечать того, о чём неудобно говорить, — и нередко это будут одни и те же люди. После истории бабушкиного дома я уже не путала осведомлённость с готовностью помочь. Здесь у каждого были свои родные, свои соседи, чьи-то дети сидели за соседней партой с его внуками. Назвать человека вслух — это потом встретить

его сына в магазине, не на отвлечённом суде истории, а вот здесь, у прилавка с хлебом. Про дьявола в этом смысле разговаривать значительно безопаснее. Родственники дьявола за хлебом не ходят.

На страшилки старухи откликнулись охотно. Страшное любят пересказывать — в этом есть и оберег, и удовольствие, — а уж тому, кто сам добровольно в него вселился, и подавно: готовый слушатель, да ещё и обречённый, на таком грех не отвести душу. У магазина, на врытой в землю лавке, сидели три старухи — несменяемые, как сама лавка, — и самая бойкая, в плюшевой безрукавке поверх пальто, взялась просветить меня по-соседски, с той особой смесью жалости и азарта, с какой добрые люди сообщают тебе плохие новости про тебя же.

— Дак ты, девка, в худое место въехала, — начала одна, понизив голос до уважительного регистра, в котором у нас сообщают самое важное. — Худое с самого начала, с фундамента. Его ж купец один срубил, до революции ещё, богатей, мильёнщик. А жена у него рожала да хоронила, рожала да хоронила — один за одним детки помирали, ни одного не выходила. Тогда и пошло по округе: место, мол, недоброе, дом на крови ставили, оттого и не держатся младенцы. Это ещё бабки наши сказывали, царствие им небесное.

Я слушала и пыталась отделить то, что мне рассказали, от того, чем это уже успели объяснить. Жена рожала и хоронила. Сколько было детей, чем они болели, до какого возраста дожили, кто пытался их лечить — ничего этого я пока не знала. Даже имён не знала. Но для чужого горя здесь давно нашлось объяснение, которому не требовалось ни одного имени: земля на крови. И женщина, потерявшая детей, оставалась в рассказе не женщиной, а доказательством того, что место худое. Вот это меня и задело. Людей ещё предстояло узнать, а вывод про них уже был готов, передавался по наследству и в уточнениях, судя по тону рассказчицы, не нуждался.

— А потом-то, потом! — перебила вторая старуха, помоложе, лет восьмидесяти, которой не терпелось дорассказать своё. — При советах уж дело было, в тридцатые. Вселили в дом семью — начальника какого-то с бабой, с ребятишками, и тещу при них. Хорошо зажили, дом обновили, занавески, то-сё. А пожили-то всего ничего, года два, — и поутру их всех находят. Всех до единого. И малых деток не пощадили. Порезали ночью. А на стене — знак намалёван.

— Какой знак? — спросила я и тут же поняла, что поторопилась: слишком быстро, слишком жадно. Старухи мой интерес уловили — они тут всё улавливали, у них на чужую слабинку вернее собачьего, — и третья, до того молчавшая, понизила голос ещё на полтона.

— Дьявольский. Кровью намалёванный, ихней же кровью, убитых-то. Круг, а в кругу звезда рогом вниз, и буквы какие-то нечеловеческие, не наши. Кто видал — крестились да помалкивали. Сам, говорят, расписался. Печать свою поставил, чтоб знали, чьё.

— А вы видели? Сами?

— Я-то нет, что ты, господь с тобой. — Старуха быстро перекрестилась. — Бабка моя видала, покойница, она тогда в понятых была. Она и рассказывала, всю жизнь рассказывала, на ночь не приведи господи: ровнёхонько, говорит, нарисовано, страшно — а ровнёхонько. Будто по линейке. — И добавила буднично, словно речь шла о чьей-то известной всему городку привычке: — Дьявол, он ведь аккуратный.

Я записала эту фразу и подчеркнула дважды. «Дьявол, он ведь аккуратный». Пока что мне пересказывали чужие слова, услышанные много лет назад, и превращать их в доказательство было бы слишком удобно — для меня самой удобно, а это уже повод насторожиться. Но за «ровнёхонько» зацепилась. Если знак действительно был нарисован так старательно, на него потратили время. Его делали для того, чтобы увидели и прочли определённым образом. Кто делал? Когда? И была ли там кровь, или кровь дорисовала уже молва? Вот об этом хотелось расспросить человека, который стоял перед той стеной, а не перед рассказом о ней.

— А ещё в семидесятые, — вспомнила самая тихая из трёх, — мужик там жену свою застрелил. Тоже, говорят, дом попутал. — Про это она сказала без придыхания, почти мимоходом, как про обыкновенную беду. В общий страшный счёт оно у них почему-то не шло.

Про девяностые рассказывали уже наперебой, все три разом: это было на их веку, своё, и оттого голоса стали другими — меньше сказочного почтения, больше живого ужаса. Новый русский, богатый, шумный, дом из руин поднял, родня съехалась обмывать — гостей полон дом, тринадцать душ. И в ночь на новоселье — всех. Из автоматов, говорят, очередями. И опять знак на стене нашли наутро, тот же самый. С тех пор уж точно никто не совался: ни жить, ни купить, ни мимо лишний раз пройти. Стоял дом пустой, заколоченный, пока вот этот московский дурак не явился, прости господи, на свою голову.

— А он не дурак, — сказала я зачем-то, заступаясь за Макара перед лавкой. — Он как раз хочет разобраться, что тут было.

— Вот и я про то, — невозмутимо кивнула плюшевая бабка. — Дурак и есть. Разбираться в таком — последнее дело. Тут не разбираться, тут свечку поставить да забыть.

Я уже убирала блокнот, когда вмешался четвёртый голос — мужской, до того молчавший. У забора, на перевёрнутом ведре, сидел дед из тех вечных деревенских дедов, что представлены, кажется, к каждому магазину от сотворения мира, и чинил какую-то снасть. Не поднимая головы, он сказал в пространство, ни к кому:

— Дьявол, дьявол... Тьфу. Дому-то самому, чай, обидно.

Старухи зашикали, но он только махнул рукой и добавил, всё так же глядя в свою снасть:

— Дом стоит сто лет, никого пальцем не тронул. Брёвна да брёвна. А люди в нём друг дружку режут — и на дом валят. Удобно. Дом-то не возразит. — И снова замолчал, будто на этом всё необходимое было сказано и можно наконец вернуться к делу.

Я достала блокнот обратно. «Дому обидно» — это стоило записать хотя бы потому, что за всё утро человек впервые пожалел не меня, обречённую приезжую, а дом. Не назначил его виноватым, не посоветовал снести или освятить — просто пожалел. Позже я пыталась отыскать этого деда, чтобы расспросить, и не нашла. Старухи на мои вопросы пожимали плечами: «Какой дед? Не было деда». Не знаю, не помнили они его на самом деле или не хотели помнить именно этот разговор. Здесь вообще не всегда удавалось понять, где кончается память и начинается осторожность. Но реплика осталась в блокноте. И перевёрнутое ведро я помнила, и снасть у него в руках, и раздражённое «тьфу», с которым он вступился за чужие брёвна.

Обратно мы ехали с продуктами, буханкой хлеба, солью, пачкой свечей и тем отчётливым беспокойством, какое я испытываю над складным текстом, в котором всё на своих местах, а верить почему-то не получается. Пока «Нива» переваливалась по колдобинам, пыталась понять, что именно меня задело. Мне рассказали три большие истории — те, на которых держалась местная легенда. Начало века: женщина теряет детей. Тридцатые: вырезанная семья и знак на стене. Девяностые: расстрелянная компания и опять знак. Разные люди, разные обстоятельства, а объяснение одно, уже готовое, пригодное на все случаи: дьявол. Четвёртую историю, про мужа, застрелившего жену, почти пропустили. Там хотя бы назвали человека, который выстрелил, — и рассказ сразу оказался не таким интересным. Хотя мёртвой женщине, надо полагать, от этой разницы было не легче.

Сами по себе похожие рассказы ничего ещё не доказывали. Меня смущало другое: объяснение избавляло от необходимости спрашивать дальше. У меня за одиннадцать лет работы на такие места выработался почти телесный отклик. Знаете, что выдаёт слабого автора вернее корявого языка? Удобный вывод. Герой совершает поступок, для которого нет никаких оснований, но который очень нужен сюжету, — и автор, вместо того чтобы честно к нему подвести, пишет: «И тогда он понял». Что понял? С чего? А ни с чего, дальше по плану погоня, некогда объяснять. Вот это «и тогда он понял» здесь заменяло «дьявол попутал». Та же затычка, которой закрывают дыру, чтобы никто не задержался возле неё с вопросом. Я годами писала на

полях: «Чем мотивировано?» Теперь хотелось спросить то же самое, только не у автора рукописи. Кто жил в доме? Что произошло с каждым из них? Откуда взялся знак и кто первым назвал его дьявольским? Пока ответом на всё служило название места. Для начала расследования этого было достаточно. Для окончания — никак.

В тот вечер я завела тетрадь. В Суздале у меня уже была одна с названием «Орфография призрака»; эту назвала проще и злее. Химическим карандашом из бабушкиной жестянки, которую привезла с собой, вывела на обложке: «Что не сходится». Первой строкой записала: «Три истории. Один виноватый. Слишком гладко. Проверить каждую отдельно». Следом перенесла из блокнота бабкино «Дьявол, он ведь аккуратный» и приписала: «Со слов внучки свидетельницы. Кто ещё видел знак?» Посмотрела на написанное. В устном пересказе всё звучало гораздо внушительнее. На бумаге, стоило указать, кто от кого что слышал, легенда заметно потеряла в осанке.

От руки мне думается медленнее, и это как раз то, что нужно, когда очень хочется поскорее всё понять. Пока выпишешь фразу, успеваешь заметить, где чужой рассказ незаметно перешёл в собственную догадку. В эту тетрадь я собиралась заносить прежде всего нестыковки и вопросы — не просто «сегодня случилось то-то», а «вот здесь проверить». Отдельно записала клеймо на столбе, гулкое место в сених и «неправильную стену». Не потому, что уже видела между ними связь. Как раз чтобы не придумать её задним числом, когда появится какая-нибудь особенно соблазнительная версия. Свежий взгляд — вещь скоропортящаяся: сегодня спотыкаешься, завтра привыкаешь, послезавтра уже объясняешь себе, что иначе и быть не могло. Я это по работе знала. И по себе, к сожалению, тоже.

К ночи пересказала всё Андрею. Он слушал, чистил картошку и молчал, а под конец сказал:

— Знаешь, чем хорош дьявол? Показаний не даёт. В суд не вызовешь, на очную ставку не посадишь. Удобный фигурант.

Я потянулась за карандашом. Он срезал с картофелины глазок и добавил:

— На войне тоже бывало: человека нет, виноватых нет. Обстоятельства. Здесь — дьявол. Разница небольшая.

И снова занялся картошкой. Я смотрела на его руки и думала, сколько всего он носит в себе без слов — мой человек, прошедший войну, восемь лет стороживший чужой склад и теперь сидевший со мной на чужой кухне. Иногда из него выходила одна такая фраза, и после неё весь мой длинный пересказ хотелось перечитать заново. Записала и это. Андрей покосился на тетрадь, но ничего не сказал.

Так мы и устроились в доме. Макар, как и предупреждал, ночевать не оставался: каждый вечер уезжал в райцентр, на съёмную квартиру, а утром возвращался с хлебом, термосом горячего кофе и виноватым лицом, будто извинялся, что не может разделить с нами то, на что сам же нас и подписал. Мы с Андреем оставались. Пугаться за Макара мне было легко; пугаться за Андрея — занятие, которое он всеми силами старался сделать бессмысленным. Дом был для него понятной работой: здесь проверить, там поправить, это запомнить, сюда ночью без фонаря не ходить. В санатории ему, подозреваю, было бы тревожнее — там ведь ещё надо придумать, чем заниматься между обязательным отдыхом и рекомендованным покоем. Отдыхать он так и не научился. Зато нести вахту умел, как никто.

За несколько дней у меня сложился странный, на цыпочках, быт. Я топила две печки в дальних комнатах — единственных тёплых, — варила на двоих, носила воду из колодца: до водопровода при всём размахе реставрации дело так и не дошло. И привыкала к дому, как привыкают к новому, ещё не разгаданному человеку: понемногу, не доверяя сразу, приглядываясь. Дом отвечал мне тем же. Скрипы перестали заставать врасплох, печки стали брать тягу с первой спички, половицы запомнили мой шаг и больше не вздрагивали под ним. Всё как у людей,

как при любом обживании: сначала прислушиваешься к каждому вздоху, потом уже знаешь, на какой можно не оборачиваться. Только к закрытой части второго этажа я так и не привыкла.

Андрей с первого же утра завёл порядок, достойный гарнизона: дрова — туда, вода — сюда, обувь у порога носами к выходу, «чтоб впотьмах не путаться, если что». Это его «если что» сопровождало нас по жизни, как припев, и я давно перестала уточнять, что именно имеется в виду. Ничего хорошего, надо полагать: для хорошего ботинки в боевую готовность не приводят. Свой я всё-таки развернула. После прошлой осени спорить с Андреевой предусмотрительностью было бы неблагодарностью, а споткнуться ночью о собственный сапог — ещё и глупостью, за которую отвечать пришлось бы лично.

Готовила я на печи и заново училась её неспешной, обстоятельной науке: суздальская-то была уже знакомая, а эта требовала собственного подхода и к прежнему моему опыту относилась без почтения. Печь вообще прекрасно лечит городскую суетливость: у неё свой темп, и либо ты под него подстроишься, либо останешься без обеда. По вечерам мы садились за стол под низко висящей лампой — электричество в деревне было, хоть и помаргивало в непогоду, напоминая, что присутствует здесь по доброй воле, — и я раскрывала тетрадь «Что не сходится». Андрей чистил на завтра картошку или точил что-нибудь, что, по моему разумению, ещё не успело затупиться. Ему так лучше думалось. Говорила в основном я; он слушал и иногда ронял слово, после которого приходилось собирать рассуждение заново. Картошки на двоих было от силы на десять минут, но мы просиживали над ней час: нож останавливался, Андрей вслушивался, потом снова принимался за кожуру. Дело давно было не в картошке. Просто руки у него не умели оставаться пустыми.

В один из таких вечеров я и спросила — под лампу, под тихое потрескивание дров, когда чужая кухня ненадолго сделалась почти своей:

— Андрюш. А ты вообще спишь когда-нибудь? По-человечески. Чтоб всю ночь.

Он не сразу ответил. Срезал кожуру длинной спиралью, не разрывая, положил картофелину в чугунок.

— Сплю. Вполглаза. Восемь лет на складе так спал, привык. — Андрей помолчал, а потом продолжил: — Думал, уволюсь — отвыкну. Не отвыкается. В два часа глаза сами открываются. Лежу, слушаю.

— А что слушаешь?

Он задержал нож. На прямые вопросы о себе Андрей обычно отвечал чем-нибудь про хозяйство, и я уже приготовилась узнать, что у нас скрипит задвижка. Но он посмотрел в окно, в чёрный двор, и сказал:

— В том и дело, что нечего. А всё равно слушаю. На войне было чего — там проспичь, утром не встанешь. Тело выучило. Войны нет, склада нет, а оно не знает. — Невесело усмехнулся он. — Сторож без поста.

Я смотрела на него и впервые так ясно понимала, какой ценой даётся то, что я привыкла называть надёжностью. Его фонарь у изголовья, его «на всякий случай», готовность подняться на любой звук — не всё это было богатырской силой, которой можно только восхищаться. Многое было раной. Раной, которая исправно работала, а я под эту работу подстроила хозяйство и собственные страхи и была очень довольна, что рядом человек, которому ничего не страшно. Не страшно, ага. Просто он вставал раньше, чем я успевала испугаться. И от этого открытия стало неловко: пока мне было спокойно, я почти не думала, спокойно ли ему.

— Ложись, — сказал он, поймав мой взгляд, и сразу отвёл глаза. — Чего уставилась. Дочищу — и сам лягу.

Я легла. Некоторое время слышала, как он возится на кухне, как осторожно ставит чугунок, чтобы не грохнул, как идёт проверить дверь. Мне хотелось позвать его, сказать что-нибудь такое, от чего наконец можно уснуть без оглядки на ночь, — и ничего подходящего не находилось. Я умею править слова, дорогие мои. С тем, что остаётся у человека после войны, это

умение работает плохо. Одно тогда поняла: нельзя всё время радоваться, что тебя есть кому стеречь, и ни разу не пожелать этому человеку отдыха. Не нового поста, не ещё одной беды, в которой он окажется незаменимым. Просто ночи, которую можно проспять целиком. Очень хотелось, чтобы такая ночь у нас когда-нибудь была.

— Ты заметила, что в этом дворе собаки нет? — спросил Андрей следующим утром.

Я не заметила, а когда задумалась, стало неудобно: во всех трёх живых дворах были собаки — цепные, голосистые, вполне способные сообщить округе, кто куда и зачем пошёл. А у самого крайнего, самого большого дома не было ни пса, ни будки, ни вытоптанного круга возле крыльца.

— Может, не прижилась? — предположила я.

— Может, просто не заводил. — Андрей посмотрел на меня. — Макар тут сам не ночует. Ты его спроси.

Я кивнула: спрошу. Следовало бы, конечно, с этого и начать, но я уже успела представить, как собака пятится от калитки, натягивает поводок и скулит, чуя в доме такое, чего мы с Андреем по человеческой нашей бестолковости не замечаем. Была ли у Макара собака, я ещё не знала, зато отчего она сюда не пошла, уже почти могла объяснить. Вот что обидно: услышь я эту историю от кого-нибудь другого, непременно поинтересовалась бы, сам он видел или ему тоже рассказали. А себе поверила без проверки, на правах давнего знакомства. Я понимала, что Андрей прав и надо всего лишь спросить хозяина, но всё равно прислушивалась к тому, что делается за окнами: очень уж хотелось, чтобы у нашего крыльца залаяла обыкновенная собака, которой просто не нравятся чужие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.